

Г.Г. ХАЗАГЕРОВ

РИТОРИКА VS. СТИЛИСТИКА: СЕМИОТИЧЕСКИЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

Речь пойдет о сопоставлении двух типов мышления — риторического и стилистического — и о двух соответствующих им векторах языковой политики и языкового поведения вообще. В статье предпринята попытка охарактеризовать эти два типа, связав семиотический компонент каждого из них с поведенческими следствиями, и рассмотреть в этом контексте драму современной языковой ситуации.

Риторическая схема и публичное пространство

Риторика зародилась в античном мире как рефлексия по поводу убеждающей речи. Современное представление о кабинетной науке, которая может быть или не быть «внедрена в практику», мешает понять, что риторическая рефлексия была одновременно и наукой, и практикой, активно формировавшей публичное пространство. Риторическое видение мира — мы будем называть его *риторической схемой* и ниже попробуем описать его — оказывало влияние на социальные институты, формировало их.

Институциональные составляющие риторики как науки и практики в организации публичного пространства особенно ощутимы в двух ситуациях.

Первая ситуация — это трансплантация риторической схемы на новую почву, имеющую иные социальные условия, чем почва материнская. Рената Лахманн, специально исследовавшая этот вопрос, отмечает три возможные реакции на попытку трансплантировать риторику. Первая состоит в том, что «импорт риторики отвечает потребностям социальной группы, контролирующей культурную систему, и направлен на централизацию и унификацию коммуникативной системы». Контролирующая группа рассчитывает на те же эффекты, которые давала риторическая схема на своей родной почве, и этот расчет сбывается. Другой случай — когда «официозная риторика становится контрагентом антириторики, действующей против формулирования правил». Импортируемая риторическая схема не принимается как таковая, и возникает позиция, наиболее ярко выразившаяся на

Хазагеров Георгий Георгиевич — доктор филологических наук, профессор кафедры Теории и истории мировой литературы Южного федерального университета. Адрес: 344006 Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 150, Южный федеральный университет. Электронный адрес: khazagerov@gmail.com

Руси в словах протопопа Аввакума, демонстративно заявлявшего, что он риторическим искусствам не обучен. Риторика третируется как нечто искусственное и чуждое, и антириторика противопоставляется ей как искренняя, от души идущая речь. Такая позиция на протяжении истории повторялась всякий раз, когда конструктивные социальные последствия импортируемой риторики были не поняты или просто отсутствовали. И, наконец, третья реакция: «импорт риторики не ведет к заметным следствиям в текстовой практике. Риторическое учение остается в изоляции» [8, с. 46]. Последний случай наиболее красноречиво свидетельствует о том, что риторика — это не просто дескриптивная теория коммуникации, но социальный институт.

Вторую и более интересную ситуацию, выявляющую институциональные составляющие риторики, мы рассмотрим на примере освоения ее наследия после так называемого риторического возрождения 60–70 гг. XX в., когда в ученых кругах произошла реабилитации риторической теории, третируемой на протяжении полутора столетий. Авторы «Общей риторики» [4], открывающей новую страницу в истории риторики после ее упадка, уже в посвящении признаются, что риторика интересует их лишь в качестве теории фигур. Они опираются на достижения семиотики и особенно на взгляды самого выдающегося из русских формалистов — Романа Якобсона, чья статья о метафоре и метонимии [21] вдохновила многих исследователей последней трети XX в., включая и автора настоящей статьи. Однако реальная, действующая, если можно так выразиться, риторика отнюдь не сводилась к теории фигур. Да и сама классическая теория фигур, будучи частью риторики как дисциплины прескриптивной и прагматически ориентированной, выглядит иначе, чем у авторов двадцатого столетия, которые, вслед за формалистами, рассматривали ее в контексте поиска специфики художественного языка.

Неудивительно, что возрождение риторики в духе формализма начала XX в. не отразилось на коммуникативной ситуации, несмотря на то, что, например, у нас в стране риторика стала и школьной, и вузовской дисциплиной.

Ж. Женетт, один из ярких представителей новой риторики, критиковал классическую риторику за «неуемность наименований», и авторы «Общей риторики» с ним вполне солидарны [4, с. 29]. Но, как прекрасно показал академик Аверинцев, это стремление к каталогизации («неуемность наименований») и есть квинтэссенция риторического мышления [1]. Именно таким способом — через номинацию прецедентов и снабжение их образцовыми примерами (парадигмами) — классическая риторика и добивалась социально значимых эффектов (разумеется, в рамках тогдашней культуры). Действующая риторика была озабочена кодификацией риторических схем, и упрекать ее за обилие этих схем все равно, что упрекать нормативный

толковый словарь за большой словник или свод законов за большое количество последних.

Современная семиотика позволила обобщить и строго описать интуитивные наблюдения древних. При этом многие из этих наблюдений оказались «неправильными». Так, после работ А.А. Потебни [13], В.И. Харциева [19] и особенно Р. Якобсона [21] мы достаточно ясно представляем себе, что такое троп. Однако в первом трактате о тропах, принадлежавшем александрийскому грамматiku Трифону и специально исследованному мной в докторской диссертации, ясного с семиотической точки зрения понимания тропа мы не находим. Более того, значительная часть выделенных Трифоном тропов оказывается с сегодняшней точки зрения лишней. Но презумпция древнего текста, в котором насчитывается 27 тропов (что последующими авторами долго воспринималось как канон) заставляет нас задуматься над тем, а то ли вообще древний автор понимал под тропами, что и мы? Тем более что этимологически слово означает всего лишь «поворот», некое уклонение мысли в сторону.

Нормативные тексты кодифицировали прецеденты. В соответствии с этой кодификацией осуществлялась коммуникативная практика: строились судебные речи, обсуждались государственные решения. Мы же *post factum*, пытаясь сделать их более «логичными», накладывали на чужое прецедентное право собственное континентальное. В результате получили очень удобный аппарат, который помогает нам анализировать любые тексты, прежде всего, художественные, ради которых все и было предпринято.

Так произошло в отношении теории фигур, традиционно рассматривавшейся в области риторической элокуции, то есть той части риторического учения, которая отвечала за язык и стиль речи. Что же касается риторической инвенции (части, ответственной за аргументацию) с ее теорией общих мест и статусов, то эта часть риторики как наименее интересная и понятная с лингвистической точки зрения вообще оказалась на периферии научных интересов, по крайней мере, у большинства отечественных авторов. Меж тем Теодор Фивег, применивший теорию общих мест (топосов) в юриспруденции [22], достиг определенных результатов именно потому, что признал дологический характер топоса и его связь с прецедентным мышлением. М.Л. Гаспаров предлагал применять теорию статусов к анализу любых текстов, в том числе и художественных [2, с. 433–434]. Должное внимание к проблеме общих мест можно найти в недавно вышедшей «Аргументативной риторике» В.П. Москвина [10] и у тех авторов, кто пришел к риторике от логики, теории аргументации и эристики и, соответственно, как правило, проявляет мало интереса к другой, лингвистической, ее стороне — фигурам.

А между тем классическая риторика сумела определить лицо социума, риторическая школа в эпоху поздней античности стала ключом

к занятию любых государственных должностей [3, с. 10 и сл.], а риторический трактат, наконец, имел кодифицирующую силу?

Риторика выполняла очень важную социальную функцию, она увязывала интересы ближней и дальней прагматики говорящих. При этом осуществляла это с помощью риторической модели, имевшей свои специфические особенности, которые, как мне кажется, еще не вполне осознаны нами из-за невольной проекции современного мышления на мышление риторическое.

Если замкнуть исследовательские интересы в рамках коммуникативного акта, мы увидим лишь ближнюю прагматику говорящих, продиктованную целями, не выходящими за пределы данного акта. При этом мы упустим из вида то обстоятельство, что говорящие заинтересованы в общем культивировании коммуникативного пространства. Их интерес в данном случае можно назвать дальней прагматикой [18, с. 41 и сл.]. Когда собеседники поправляют друг друга и делают это не ради преодоления коммуникативных неудач, а проявляя заботу о дальней прагматике.

Риторика предлагала говорящим такую формулу: я даю тебе модель убеждающей речи, ты же, пользуясь моей моделью, одновременно послужишь делу строительства удобной для всех среды речевого общения. Таковых моделей риторика давала много. Одни касались содержания речи (схемы инвенции), другие — композиции (схемы диспозиции), третьи — языкового оформления (схемы элокуции, или просто схемы). Латинское слово «фигура» есть калька с греческого «схема».

В чем состоял «фокус» риторической схемы? Все серьезные исследователи фигур в один голос скажут, что схемы (фигуры) образовывали вторичную грамматику. Есть первичная грамматика, которая регламентирует обычные случаи коммуникации, и есть целая система отклонений от норм, но не произвольных отклонений, а таких, которые узаконены для необычных случаев. Это и есть система фигур, которые, как и тропы, в действительности, определялись как отклонения от обычного способа выражения. В частности, представление о вторичной грамматике удобно для описания специфики поэтического языка. Именно поэтому древнее представление оказалось реанимированным в новой риторике и играет в ней важную роль.

Против такого взгляда на вещи возразить нечего, хотя некоторые следствия из него и вызывают сомнения: например, поиск «нулевой», нейтральной формы для каждой фигуры. Но это уже узко лингвистические частности, важно другое: вторичная грамматика не объясняет всех особенностей риторической модели и не охватывает всех моделей. В каком смысле, например, являются отклонением от нормы так называемые части ораторской речи, образующие целый пласт риторических моделей: рефутация (опровержение), рекапитуляция (резюмирование)

и т. п.? Даже в элокуции не все подверстывается под вторичную грамматику и отклонение от нормы. В рамках элокуции, скажем, рассматривались виды так называемой «энаргии» (яркого описания различных объектов), чем задавались образцы говорения на заданные темы: хронография давала образцы для описания времен, хорография — для описания стран и обычаев, анемография — для описания погоды и т. п. Неслучайно представители новой риторики спешат отгородиться от подобных «ненастоящих» фигур, которые вкупе с «ненастоящими» тропами составят номенклатуру из нескольких десятков единиц. Все эти «графии» представляются современному исследователю чистым произволом: почему бы тогда не ввести, скажем, компьютерографию или бутикографию? Но сейчас нам надо исходить из презумпции риторического каталога. Ведь речь идет не о сегодняшней ситуации, когда можно выдумать сотни терминов, но они умрут в «тезисах докладов такой-то конференции». Речь идет о состоявшемся риторическом каноне.

Мне кажется, что суть риторической схемы скорее схватывается не через представление о ее вторичности, а через представление о метаплазме. Метаплазм — это не просто некое отклонение от обычной формы выражения, но это, прежде всего, некое преобразование, лепка речи. Метаплазм диаметрально противоположен главной стилистической категории — варианту, ибо первый принципиально континуален, второй — дискретен. Мне уже приходилось писать об этом в отношении риторических фигур [17]. Например, фигура прибавления задает принципиальную схему растяжения речи, а не предлагает на выбор два варианта: вариант с растяжением и вариант без него. Я могу в целях экспрессии по-разному тянуть гласный в слове «до-олго», важно, что я выбрал лишь сам путь — растяжку слога. Я могу не просто выбрать схему анафоры, но повторять слова в анафоре два, или три, или четыре раза. В принципе фигурные схемы очень удачно совмещают волю говорящего (продиктованную ближней прагматикой) и общий интерес коммуникантов (дальнюю прагматику). Принципиально открытый характер схемы дает простор для воли продуцента речи. Сама же схема, имеющая название («неуемная страсть риторики к называнию»), парадигму (прецедентный пример) и кодифицированная в каноне, служит гарантией соблюдения интересов дальней прагматики. Если посмотреть на хронографию не как на бессмысленный термин, а как на легитимный и практиковавшийся прием лепки речи по образцу описания времен у Гесиода, все встанет на свои места. Разве памятный всем нам советский дискурс не имел на вооружении нечто вроде хронографии, когда лекторы охотно пускались в сравнения форм жизни до и после революции. Это был готовый и легитимный ход мысли, часть канона.

Но совершенно таким же образом работают и схемы риторической диспозиции и инвенции, уже не имеющие отношения к вторичной грамматике. Например, есть такая часть ораторской речи, как

рефутация — опровержение аргументов оппонента. Рефутация может строиться, скажем, на диализисе, когда выводы противника представляются в виде альтернатив, а затем опровергается каждая из них. Говорящий знает, что есть такой инструмент опровержения доводов. Слушатели тоже знают о существовании этого инструмента, и все способны проконтролировать, правильно ли этим инструментом воспользовался говорящий (учел ли он все альтернативы). Таким образом, есть принципиальная схема для части ораторской речи, но использовать ее можно по-разному, как и любой другой метаплазм. Речь идет не о выборе варианта из группы синонимичных (какое окончание выбрать: *выпить воду* или *выпить воды*), а о выборе модели из всего богатства риторического канона.

Точно таким же образом устроен топос, который в отличие от концепта или архетипа есть сугубо коммуникативная модель, имеющая название и обладающая свойством континуальности. Скажем, в современной коммуникативной практике сформировался топос погоды как цивилизованный (культурный, легитимный, общественно одобряемый) способ завязывания разговора. Это не *концепт* погоды в английской или русской национальной культуре и не *архетип погоды* как проявление *коллективного бессознательного*, а удобный коммуникативный инструмент, в разной степени легитимированный в различных коммуникативных культурах.

Риторическая схема любого из трех уровней риторики (инвенции, диспозиции или элокуции) обеспечивает говорящего удобным и в то же самое время кодифицированным коммуникативным инструментом. Так осуществляется увязывание интересов ближней и дальней прагматики. Там, где риторический канон, то есть склад таких инструментов общепризнан, закреплен в школе, хрестоматии, трактатах, освящен авторитетами теоретиков и практиков риторики, можно говорить о риторике как о социальном институте, организующем определенным образом публичное общение. Если же просто реабилитировать риторическую теорию, обновив банк примеров главным образом за счет художественной речи и переосмыслив риторические схемы в терминах стилистики, никаких институциональных следствий не будет. В качестве полярных примеров можно привести римскую риторику эпохи Цицерона и современное состояние теоретической риторики, имеющей очень мало каналов воздействия на социальную практику. В первом случае риторический метатекст (трактат, теория) определял форму организации культуры публичного слова, он был на слуху у тогдашнего «говорящего класса», сам был частью публичной культуры. Во втором случае риторический метатекст остался продуктом неизвестной и неинтересной обществу академической жизни.

Стилистический вариант и культивирование общения

За две тысячи лет до появления стилистики были разработаны риторические теории стиля. В них стили выступали в роли все тех же

риторических моделей. Был принят канон со своими стилевыми номинациями, и была возможность пользоваться этим каноном. Номинации сводились главным образом к трем стилям — высокий, средний и простой, или высокий, средний и низкий стили (вариант, выбранный Ломоносовым). Позднее появилась теория четырех стилей (Деметрия) и другие теории.

Современная стилистика возникла из совершенно других источников. Если позволить себе метафору, можно сказать, что душа стилистики не греческая или латинская, а галльская. Если без метафор, то в основе ее лежит не столько прагматическая, сколько логическая, картезианская мысль устройства общения. Истоки современной стилистики, сформированной Шарлем Балли, можно обнаружить в трудах французских синонимистов, о которых пишет Сильвен Ору [12]. Современная стилистика зиждется на представлениях о синонимии.

Если похожие вещи называются в языке двумя словами (синонимами), есть прямой смысл произвести логическую дистинкцию и показать, чем значение одного слова отличается от другого — развести значения синонимов. Это задача академического толкового словаря, решаемая в свое время как французской, так и русской академиями. Если слова называют одну и ту же вещь, целесообразно найти их различия в сфере употребления, то есть углубиться в стилистическую дифференциацию.

Деятели Пражского лингвистического кружка, и прежде всего Вилем Матезиус [9], показали, что разведение значений различных языковых вариантов (синонимов) способствует гибкости языка. Самую гибкую форму национального языка, способную различать максимум смысловых и стилистических нюансов, пражане стали называть литературным языком. Оценить красоту этой мысли можно, сравнивая слова литературного языка и жаргона. Так, в сленговом слове «прикольнo» сливается сразу много значений слов литературного языка: «курьезно», «смешно», «замечательно», «удивительно», «остроумно» и т. д. Если в языке останется только слово «прикольнo», а остальные синонимы уйдут, язык огрубеет, утратит часть своей способности различать смыслы.

Пражанам удалось избежать дилеммы вседозволенности и пуризма (неоправданного консерватизма) и построить функционально оправданную теорию языковой нормы, в основе которой лежит представление о выборе языковой единицы из некоторого набора вариантов. Будучи опрокинута в теорию стиля, эта идея дала представления о функциональной стилистике, развитые пражанами, а в советской России — академиком Виноградовым. Суть функциональной стилистики состоит в том, что для каждой из основных сфер общения (деловой, научной и т. п.) следует выбирать соответствующую ей единицу языка. Скажем, слово «зверюшка» неприемлемо в научном стиле, а слово

«бабуся» в деловой сфере. Я намеренно привожу тривиальные примеры, потому что функциональная стилистика призвана решать именно тривиальную задачу — ограждать говорящего от нелепого речевого поведения.

Таким образом, стилистическое мышление учит быть адекватным коммуникативной ситуации. Оно почти целиком сосредоточено на задачах дальней прагматики. Что касается прагматики ближней, то есть непосредственных интересов говорящего, она обслуживает их лишь негативно: учит не выглядеть нелепо, но ничего не сообщает о том, как добиться коммуникативной цели. Модель стилистического мышления всегда предполагает выбор нужного варианта из некоторого количества (обычно 2–3) возможностей.

На практике в советские времена функциональная стилистика охватывала пять стилей: официально-деловой, научный, газетно-публицистический, разговорный и литературно-художественный. В перестроечные годы к канону добавился религиозно-проповеднический стиль [6]. Регламентация осуществлялась сверху через систему редакторов и поддерживалась школой, нормы кодифицировались учеными с санкции государства.

В постсоветское время культура речи — продукт эволюции пражской идеи культуры языка на отечественной почве — стала тем проектом, который попытался расширить зону ближней прагматики, то есть учить говорить не только правильно, но и хорошо (эффективно). В современной концепции культуры речи, наиболее полно отраженной в словаре «Культура русской речи» [20, с. 287–290], риторика фактически входит в культуру речи составной частью. Но именно риторика, лишенная ее социальных механизмов, делает весь проект несколько утопичным.

Стилистическое культивирование языка может быть не только следствием государственной языковой политики, но и языковой политики общества. Однако сам механизм культивирования языка, предлагаемый стилистикой и культурой речи, так или иначе предполагает принуждение. Сам чисто негативный подход к стилевой норме — не делать плохо — порождает меры запретительного, ограничительного характера, как в случае с орфографическим режимом. Как объединить это с риторическим культивированием, принципиально добровольным и позитивным, сказать сложно, тем более в условиях, когда норма встречает сопротивление, а риторика выглядит искусственной трансплантацией.

Исторически риторическое и стилистическое мышление встречались на почве абсолютистского государства, когда существовала очень специфическая декорум-риторика, риторика приличий, обучающая «пристойному» речевому поведению, если воспользоваться словом Ломоносова. Из четырех античных достоинств речи, предложенных

Теофрастом, эта риторика делала акцент на уместности и чистоте часто в ущерб ясности и красоте. Риторическая конвенция устанавливалась наиболее искусственным путем, нуждающимся во внешней регламентации, а жить такая риторика могла только в тепличных условиях придворной культуры. Механизма демократизации, трансляции норм в более широкую среду она не имела. Когда же роль источника языковой нормы брала на себя художественная литература, то писатели начинали с того, что стремились разрушить нормы декорум-риторики, а заодно и риторики вообще, так как последняя была скомпрометирована в их глазах искусственными предписаниями. В результате в русском девятнадцатом веке языковой вкус формировался исключительно художественной литературой, начавшей с решительной борьбы с ломоносовской риторикой и, в конце концов, взявшей на себя в числе прочих и функции риторики. Последнее стало заметно, когда после введения суда присяжных в России появилось судебное красноречие. Общие места это красноречие заимствовало у Толстого, Достоевского, Пушкина и других писателей, а традиционная часть ораторской речи — наррация — превращалась в некоторых речах в настоящее романное повествование с характерным для реалистической литературы изображением характеров в их развитии².

Особенностью современной коммуникативной ситуации, резко отличной и от эпохи расцвета риторики, и от эпохи расцвета стилистики, является то, что можно назвать отложенной прагматикой. Все новые практики второй половины двадцатого века — пиар, имиджология, управление производимым впечатлением — так или иначе связаны с эффектом отложенного воздействия. Необходимо не только добиться мгновенного результата, как в судебной речи, но и сохранить о себе благоприятное впечатление. Эффект отложенности был знаком торжественному красноречию, но никогда в пределах риторики речь не шла о том, что можно характеризовать как брендинг. Пиар непосредственно ставит своей задачей культивирование среды. Но под последним он понимает не задачи дальней прагматики, как в риторике или стилистике, а воздействие на потенциальных субъектов коммуникации в целях облегчения долговременных контактов с ними.

Это абсолютно новая задача, которую решают целые социальные институты, но при этом совершенно неизвестно, каким способом можно совмещать интересы отложенной и дальней прагматики. Речь вот о чем. Риторика была устроена так, что интересы ближней и дальней прагматики говорящего увязывались между собой, то есть его забота о ближайшей цели и о коммуникативном пространстве в целом решались одной и той же риторической схемой. Задачи же отложенной

² См. готовящуюся к печати книгу: *Хаззагеров Г.Г.* Риторика власти в России (М.: Европа).

прагматики зачастую прямо противоположны задачам прагматики дальней, то есть желание перестроить коммуникативное пространство, превратив его в зону своего влияния, может оказаться и чаще всего оказывается контрпродуктивным для всеобщей пользы. Подчеркну, что речь идет не о «черном пиаре» или о манипулировании, а о вполне добросовестном пиаре, в котором заинтересованы и его субъект, и партнеры по коммуникации. Но даже такое воздействие на среду как на общее коммуникативное благо редко бывает положительным. Скажем, все или многие заинтересованы в каком-то товаре. Но если его агрессивная реклама стянет на себя часть коммуникативных потоков и задаст коммуникативный формат, удобный именно для этой рекламы, ее действие для всего пространства в целом будет деструктивно. Это не искусственный пример. Мы видим, как реклама товаров, ориентированных на молодежь, способствует внедрению стереотипов публичного поведения, мало приемлемых для решения целого ряда задач, требующих, так сказать, неэкстремального коммуникативного поведения. Все претензии к тоталитарной риторике от Оруэлла до современных работ [7] состоят в том, что общее коммуникативное благо в виде гибкого языка и возможностей говорить о вещах по-разному приносится в жертву узким задачам пролонгированного воздействия.

Иными словами, в модели риторики частные и даже корыстные интересы тесно переплетаются с общественной пользой. В модели стилистики частные интересы репрессируются ради удобства общей коммуникации, причем репрессивные функции берет на себя внешняя сила. Отложенная прагматика (модель пиара) неизбежно приносит общие коммуникативные интересы в жертву групповым или личным.

Экология языка и мера прагматизма

Забота о коммуникативной среде живет сегодня не только в культуре речи, но и в новом направлении — экологии языка [14, с. 22]. Экология языка возникла в русле работ по культуре речи, но имеет принципиальное отличие от последней. Дело в том, что культура речи (особенно в отечественной формулировке: речи, а не языка) предполагает наличие идеала культурной речи, а этот идеал сегодня сформулировать непросто. Во всяком случае, преподаваемая в вузах отечественная дисциплина «культура речи» такого идеала представить не в состоянии, и даже сами работы по культуре речи написаны таким языком, что далеко не каждый читатель признает его своим идеалом.

Все упирается в банальную вещь — в отсутствие эталонов речевого поведения. Что считать таким эталоном: русскую классику, язык представителей старой интеллигенции, язык советского официоза, язык интеллигентов-шестидесятников, современную литературу, речь благочестивого неопита, стиль бойкого журналиста? Речь может идти лишь о соответствии (фитнесе), но не об идеале или норме. Теоретически можно

ответить, что репертуар идеалов может или даже должен быть разнообразен. Но, во-первых, такое разнообразие невозможно без установления некоторой иерархии (стратификации), во-вторых, все это разнообразие не покрывает существующих лакун. Такой лакуной, например, является отсутствие слов для обращения к незнакомому человеку: «Сударь»? «Батенька»? «Товарищ»? «Друг»? «Мужик»? «Брат»? «Мужчина»?

Экология языка такой проблемы не знает. Она не озабочена формированием идеала, ее задача проста — обеспечивать выживание языка, способствуя его устойчивому развитию и поддерживая разнообразие. Принцип устойчивого развития (sustainable development) заимствован из «большой» экологии [15]. Под устойчивым развитием понимается развитие, «которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [16, с. 50]. Принцип же разнообразия есть продолжение идеи биологического разнообразия, что наиболее очевидно в тех случаях, когда речь идет о сохранении исчезающих языков. Однако лингвистическое разнообразие трактуется шире: «Экологическая интерпретация, разумеется, возможна не только в таких “жестких” ситуациях, когда лингвисту не остается ничего другого, как констатировать гибель языка. Экологический подход правомерен и в менее острых случаях, когда происходят, казалось бы, менее губительные языковые изменения, такие, как возникновение и исчезновение отдельных языковых категорий, типов текстов и коммуникативных функций» [11, с. 27].

Ключевые категории языковой экологии — деградация и реабилитация. Необходимо отслеживать опасные симптомы деградации языка, или, правильней сказать, коммуникативной среды (включаящей все, что связано с кодом, каналом, прецедентными текстами и т. д.), а затем искать механизмы реабилитации. Аргументация в защиту экологии языка прозрачней, чем апология культуры речи: мы не хотим жить в такой коммуникативной среде, в которой будет трудно общаться и которая в свою очередь приведет к деградации социальной среды, в пределе — к коллапсу. В риторике такая аргументация называется пафосным доводом к угрозе. В какой-то мере это довод действенный.

Но как непосредственно, без запугивания отдаленной перспективой, увязать живые коммуникативные интересы говорящих (ближнюю прагматику) с желанием создавать и пролонгировать хорошее впечатление о себе (с отложенной прагматикой) и с заботой о коммуникативной среде (с дальней прагматикой) так, чтобы все три аспекта были тремя сторонами одного и того же коммуникативного поведения? На сегодняшний день ни один подход такой модели общения не предлагает. Стихийно же в массовом обществе происходит некая перестройка

коммуникативного пространства, в котором индивидуум живет не как в саду культуры, а как в джунглях информации. Самым ярким проявлением и доказательством этого процесса является новое отношение к чужому слову.

У человека массового общества появляется особый навык жить в мире слов, которые он не вполне понимает или совсем не понимает. В новой книге Максима Кронгауза есть глава «Искусство недопонимания» [5, с. 145], в которой он пишет о стратегии современных авторов художественных произведений включать в текст слова, заведомо непонятные читателю, возможно, даже выдуманные специально. Ясно, что такая литература не только не отталкивает современного человека, но и воспринимается им как должное, ведь он и так живет в целом потоке мало известных слов. Причем непонятные слова — это не только неологизмы, которые мы вбрасываем в речь без всякого колебания, не только архаизмы, которые мы извлекаем из заповедных глубин, нимало не заботясь о том, поймут нас или нет, но это еще и самые обычные слова, относительно которых мы больше не думаем, в нужном ли смысле поймет их адресат речи.

«Искусство недопонимания» обнаруживает себя в стратегии цитирования и особенно обыгрывания чужого слова в искаженной цитате (фрактате), что является повседневно наблюдаемой приметой времени. Стратегия цитирования в устных и письменных СМИ демонстрирует полное пренебрежение, как к авторству цитаты, так и к тому, помнит ли адресат сообщения саму цитату. Эта еще одна грань молчаливого признания того, что можно жить, не понимая чужого слова.

Риторика знала разные способы обращения с чужим словом, некоторые из них формально совпадают с тем, что вслед за Михаилом Бахтиным принято называть полифонией. Но у Бахтина полифония явно имеет положительную коннотацию. Она предполагает диалогизм, признание правоты «другого». В риторической же практике такие случаи чаще всего сопровождаются издевкой над оппонентом. Подобной «полифонией» переполнены письма Грозного к Курбскому. Отметим с некоторым укором любителям полифонии, что на практике цитатность вообще редко свидетельствует о паритетных отношениях. Это либо демонстрация превосходства над собеседником, высмеивание его слов (риторический мимезис или гипокризис), либо цитата как проявление пietetа. Исключение в какой-то степени составляет научное цитирование.

Современная цитация, как в литературе, так и в быту, производится на принципиально новом основании. Это не знак уважения, но и не злая ирония, и не пародия, и не травестирование. Это, разумеется, и не полифония в бахтинском смысле слова, и, пожалуй, даже не интертекстуальность. Скорее это еще один способ вбросить в словесное пространство знак, не заботясь, насколько адекватно он будет опознан и

будет ли опознан вообще. При этом, однако, современный речевой этикет буквально требует такой цитации, например, при озаглавлении газетных текстов она почти обязательна. Сложился определенный узус, и журналист почти механически поддерживают его, чтобы не выглядеть белой вороной. Цитация здесь выражает не экспрессию, а, напротив, верность стандарту.

Немного объясняет в цитации и термин «языковая игра». Если цитаты и непонятные слова — это элементы языковой игры, то возникает вопрос о субъектах этой игры. По-видимому, адресат в этой игре занимает периферийное положение. Говорящий играет с бесконечной и не вполне подвластной ему стихией чужого слова, осваивает его на свой лад. Адресат может эту игру оценить, но может и не оценить или вообще ее не оценивать. Короче говоря, отношение к чужому слову и игра непонятными словами свидетельствуют об одном: ткань коммуникации делается рыхлой. Вопрос в том, считать ли это деградацией языка.

«Искусство недопонимания» представляет собой новый виток прагматизма. Совсем не обязательно понимать значения слов, чтобы понять (с некоторыми прагматически не существенными погрешностями) смысл текста. Если можно понимать смысл сообщения, не зная в точности значений всех входящих в него слов, то можно сделать и следующий шаг: необязательно понимать семантику самого текста, когда понимаешь его прагматику. Скажем, текст предписывает тебе куда-то не входить и содержит какие-то доводы. На практике достаточно уловить общую прагматику («смысл смысла») или попросту назначение текста), понять, что текст носит запретительный характер, и принять решение в зависимости от собственных интенций.

Адекватность поведения требует лишь одного — ориентироваться в потоке информации. Здесь реципиент речи предоставлен сам себе и наделен невиданными доселе степенями свободы: он не разворачивает свиток, читая его строку за строкой, и даже не перелистывает книгу-кодекс, выискивая нужное место, он свободно передвигается по гиперссылкам или играет кнопками телевизионного пульта. Соответственно и продуцент речи, хорошо представляя себе коммуникативную ситуацию, не испытывает излишней ответственности за доверившегося ему читателя или слушателя, особенно, когда он отделен от последнего во времени и в пространстве. Доказательства тому мы найдем как в элитарной литературе, так и в сфере массовой коммуникации.

Стратегия недопонимания — типичная стратегия ближней прагматики. Проблемы отложенной прагматики потому и стали актуальны в наше время, что при ситуативном общении по модели нечеткой логики потребны особые искусственные механизмы, закрепляющие «имидж» говорящего: положительный имидж говорящего (его «кредитная история» как говорящего лица) уравнивает риски ситуативного

общения. Но подлинные проблемы возникают в зоне дальней прагматики. Если «адекватный» коммуникант действует в пределах своего «умвельта», то кто выполнит функцию «эколога» и позаботится о дальней прагматике? И в какой мере можно увеличивать прагматизм общения, не ставя под угрозу всю систему?

К сожалению, экология языка, как и культура речи, не может указать на органичный путь, запускающий механизмы реабилитации языка «снизу». В отличие от времен риторики современное научное сообщество не может предложить такой подход к коммуникации, при котором говорящие были бы лично заинтересованы в культивировании коммуникативного пространства. Стратегия недопонимания чревата тем, что ближняя и дальняя прагматики утратят точки соприкосновения. До сих пор эту стратегию применяли лишь взрослые при попадании в чужую языковую среду и дети, которым предстоит интеграция во взрослый мир, имеющий свой запас прочности. Логика развития прагматизма общения ставит всех коммуникантов в позицию детей без перспективы повзрослеть или иностранцев без перспективы освоить чужой язык. Драматизм положения состоит в том, что одна прагматика развивается в ущерб другой, а значит, в целом такое коммуникативное поведение нельзя назвать прагматичным.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Аверинцев С.С.* Риторика как подход к обобщению действительности // *Аверинцев С.С.* Риторика и истоки европейской литературы. М.: Языки русской культуры, 1996.
2. *Гаспаров М.Л.* Античная риторика как система // *Гаспаров М.Л.* Работы по поэтике. М.: Азбука, 2001.
3. *Гаспаров М.Л.* Поэзия риторического века // *Поздняя латинская поэзия.* М.: Художественная литература, 1982.
4. *Дюбуа Ж., Эделин Ф. и др.* Общая риторика / Пер. с франц. М.: URSS, 2006.
5. *Кронгауз М.* Русский язык на грани нервного срыва. М.: Языки славянских культур, 2008.
6. *Крысин Л.П.* Религиозно-проповеднический стиль и его место в функционально-стилистической парадигме современного русского литературного языка // *Поэтика. Стилистика. Язык и культура: Сб. памяти Т.Г. Винокура.* М.: Наука, 1996.
7. *Лассан Э.* Дискурс власти и инакомыслия в СССР: когнитивно-риторический анализ. Вильнюс. Изд-во Вильнюсского ун-та, 1995.
8. *Лахманн Р.* Демонтаж красноречия. СПб.: Академический проект, 2001.
9. *Матезиус В.* О необходимости стабильности литературного языка // *Матезиус В.* Избранные труды по языкознанию / Пер. с чеш. и англ. М.: URSS, 2003.
10. *Москвин В.П.* Аргументативная риторика: теоретический курс для филологов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.
11. *Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1989.*

12. Ору С. Д'Аламбер и синонимисты // Ору С. История. Эпистемология. Язык. Пер. с французского. М.: Прогресс, 2000.
13. Потёбня А.А. Из лекций по теории словесности // Эстетика и поэтика. М.: Искусство, 1976.
14. Скворцов Л.И. Лингвистическая экология, или Лингвоэкология // Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник. М.: Флинта; Наука, 2003.
15. Сквородников А.П. Лингвистическая экология: проблемы становления // Филологические науки. 1996. № 2.
16. Устойчивое экологобезопасное развитие: Курс лекций / Под ред. А.Д. Урсула. М.: РАГС, 2001.
17. Хазагеров Г.Г. Вариант и метаплазм // Седьмые международные Виноградские чтения «Русский язык в многоаспектном описании». М.: МГПУ, 2004.
18. Хазагеров Г.Г. Ось интенции и ось конвенции: к поискам новой функциональности в лингвокультурологических исследованиях // Социологический журнал. 2006. № 1/2.
19. Харциев В.И. Элементарные формы поэзии // Вопросы теории и психологии творчества. Харьков: [Б. и.], 1911.
20. Ширяев Е.Н. Культура речи // Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник. М.: Флинта; Наука, 2003.
21. Якобсон Р. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990.
22. Viehweg Th. Topik und Jurisprudenz. München: C.H. Beck, 1953.